

# 1

Честное слово — приехав в деревню с намерением написать эти заметки о рыбалке (в которой, заранее признаюсь, я далеко не силен), совсем не ожидал, что начинать их придётся вот с такого эпизода.

— Валера, рыбу возьмёшь? А то нам её уже девать некуда, холодильник забит.

Сосед протягивает через забор тяжёлый пакет, в котором упруго бьются крупные караси — белые, спины отдают чернённым серебром.

Немного ранее, дожидаясь на веранде, пока закипит чайник, и коротая время чтением «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого, краем глаза я видел, как сосед, вернувшись с ранней рыбалки, запустил пойманный улов в ванну, наполненную чистой водой, недавно накачанной насосом из недр земли. Немного погодя, он позвал внука лет семи и предложил тому обратно выловить сачком карасей. Мальчишка с натугой приподнимал над ванной сачок, в котором билась очередная тяжёлая рыбина, в то время как дед — невысокий, щупленький, немногим выше внука ростом — стоял несколько поодаль и, довольно шурясь, покуривал дешёвую сигарету, изредка покашливая в кулак.

Я смотрел на происходящее через окно веранды и невольно про себя считал: раз, два... семь.

Теперь караси тяжелили мою руку.

# 2

И всё-таки начну издалека.

Я с малолетства жил на берегах двух рек: Оки и Волги. Но, кроме этого, рядом, буквально окружая наши пятиэтажные дома, выстроенные из «советского» красного кирпича (хотя его цвет больше напоминал морковный), были широкие старые ярмарочные каналы, разрезанные насыпными дорогами на отдельные пруды. Кроме того, особо привлекали нас, местных мальчишек, два озера — Цыганка и Мецкерское. Иными словами — вода была кругом. Потому хотел бы я того, или нет, но рыбалка совершенно естественно вошла в мою жизнь с тех пор, как сам себя помню.

Самым любимым местом мальчишеских забав было озеро Цыганка. Кто, когда и почему дал ему такое название — Бог весть. Наш квартал из четырёх домов, образующих внутри себя ровный двор-прямоугольник (в народе эти дома окрестили «хрущёвками»), отделяли от озера всего лишь территория Спасского Староярмарочного собора, в те времена использовавшегося как складское помещение, бывший дом причта, превращённый в большой жилой барак для не слишком удачливого и законопослушного люда, и однопутный железнодорожный путь, от которого заросший травой склон спускался в некую низину, к берегу озера, по краю которого у самой воды росли могучие тополя.

У этих тополей в жаркие дни наша ребятня купалась, не зная отдыха, а по утрам и вечерам испытывала своё рыбацкое счастье, используя удочки, смастерённые из сухих ореховых прутьев, лески, поплавок из пробки, закупоривавшей когда-то бутылку с вином, и спички, что прижимала пробку к леске, небольшой гаечки вместо грузила и крючка, купленного в спортивном магазине на улице Луначарского, что недалеко от Московского вокзала.

Эти крючки продавались по десятку в тоненьких прозрачных слюдяных пакетиках, и были самых разных размеров. Серьёзные, взрослые рыбаки выбирали их со знанием дела — для всякой рыбы свой размер крючка с острым колючим жалом. Мы чаще всего покупали самые дешёвые, маленькие, прозванные «заглотиши». На солидную рыбацкую удачу не претендовали, а окуни и ерши, если их вовремя подсесть, и с таких крючков не срывались.

С каким же нетерпением летним утром мы бежали на берег Цыганки, держа в одной руке эти неказистые приспособления для лова рыбы, в другой — верёвочку, обмотанную и крепко завязанную вокруг горлышка трёхлитровой стеклянной банки, с надеждой, что на этот раз уж точно удача окажется на нашей стороне.

По дороге останавливались у огородов.

Они были разбиты за старыми, с двух сторон ограждающими территорию собора-склада сараями, сколоченными из старых, почерневших от времени и непогод досок. Стены сараев кособочились, их подпирали столбами, и всё равно вид построек выдавал неприглядность и необустроенность жизни их хозяев. Там, за сараями и забором, ограждающим грядки и яблони с вишнями от непрошенных гостей, мы, ковыряясь в земле попавшими под руку палками, добывали червей. Помещали их в найденную по дороге ржавую жестяную консервную банку с наполовину отогнутой крышкой, с опасными для неосторожных пальцев рваными краями в виде вывернутых на внешнюю сторону острых металлических треугольников, оставленных при открытии консервным ножом и напоминающих зубы акулы. Присыпали откопанных червей влажной землёй и теперь уже без остановки спешили к берегу, заросшему осокой и особыми цветами, резко пахучими и растущими только в воде у края.

Тут были обжиты, утопаны, расчищены от водорослей особые места, удобные для заброса лески. Желательно это делать подальше, но в то же время, чтобы поплавок находился не так далеко от листьев кувшинок, как бы в проруби, в лужице между образующими заводь водорослями.

Теперь, когда всё сделано правильно, остаётся только ждать поклёвки. Как же она в такие минуты желанна!

Чаще всего это случается не сразу, словно окуньки испытывают твоё терпение, твою усидчивость. Но вот пробковый поплавок слегка пошевелился, затем сильнее, но всё-таки легонько — словно его кто-то потерял на пробу, потом и вовсе попытался уйти под воду и резко дёрнулся в сторону. Тут не упускай момента, подсекай.

Если сделаешь вовремя и удачно, наградой будет трепещущийся на крючке, на самом краю лески жёлто-полосатый окунёк — такой красивый, пёстрый, радужный.

Радостно снимать его, ощущая трепыхание живой скользкой рыбки в своей ладони. Потом суетливо подбегать к воде, наполнять ею — мутноватой у илистого берега, с кружками мелких зелёных водорослей, напоминающих собой новогодние конфетти, — принесённую трёхлитровую банку, опускать в неё пойманного окунька и какое-то время наблюдать за рыбкой, как она мечется за толстым синеватым стеклом, пока, наконец, не успокоится, не застынет на месте, словно всматриваясь через стекло на неизвестный, впервые открывшийся ей мир, и только осторожное шевеление плавников будет говорить о том, что окунёк жив.

Возвращаясь к брошенному в траву удилицу, насаживаешь на крючок свежего червяка и быстрее закидываешь поплавок в удачливое место с надеждой на продолжение поклёвки. Но это случается редко. Чаще всего приходится вновь ждать.

Но вот о чём я только сейчас подумал: не припомню, чтобы кто-то из мальчишек заранее, пока не поймал рыбу, набирал в банку воды. Конечно, мы тогда не думали о каких-то правилах или предрассудках — просто так само получалось. И правда, зачем готовить воду, пока ещё не известно, будет тебе удача в этот день или нет.

В озере Цыганка рыба ловилась хорошо. Её там обитало немало, и видами была разнообразна. В том числе и речными. Виной тому мощное весеннее наводнение. Когда случались разливы, озеро соединялось в единое водное пространство не только с куда большим по площади Мещерским озером, но и с Волгой.

Теперьешним жителям микрорайона «Мещерское озеро» трудно представить, но паводок останавливался вширь только у высокой железнодорожной насыпи, идущей к Волжскому мосту. Тогда обитаемым островом являлся лишь асфальтовый завод, построенный на невысоком холмике, да голые, ещё не успевшие покрыться листвой кроны огромных старых тополей, видом корявых мощных ветвей напоминающих страшных существ, свободно парящих над бескрайней водной гладью.

Но заканчивалось половодье, озёра возвращались в свои исконные берега, и тогда всё пространство между ними становилось желтым-желто от распустившихся одуванчиков. Это было зрелище невероятной красоты, и ничто нас, мальчишек, не могло удержать, чтобы мы не отправились в эти луга.

Ещё не вся вода ушла, ещё широкие промоины были заполнены ею, отражающей движущиеся в высоком небе белые облака, а мы смотрели высоты железнодорожной насыпи, что за Староярмарочным собором в эту, казавшуюся сказочной даль, и грезили неведомыми путешествиями. Словно в этом жёлтом пространстве с голубыми крапинами большущих луж таилось что-то неведомое и непостижимое и оттого невероятно притягательное.

Если на Цыганку смотреть со стороны Староярмарочного собора, то слева озеро заканчивалось большими зарослями ивовых кустов, куда ходили старики резать лозу для плетения корзин. Справа берег был сух, и его как бы оберегала группа старых тополей — порубленных, побитых, с вколоченными в них металлическими скобами, но продолжающих упорно жить.

Чтобы перейти на другой берег озера, лучше всего его обойти с правой стороны, посуху. Правда, Цыганка с Мещерким соединялась непонятной протокой, которую пересекала проложенная к асфальтовому заводу автомобильная дорога. Преодолевая протоку, приходилось разуваться и по песчаному дну идти вброд.

Протоку эту мы, дети, побаивались, потому что в ней водились чёрные и красные пиявки. Чёрные были толстыми и жирными, красные тонкими и чем-то напоминали мотылей, только в длину намного больше. Бывало, выходя на другой берег, мы уже находили на ноге присосавшуюся к ней чёрную пиявку. Снимать её с кожи было не больно, но неприятно и гадливо. Пиявка упруго шевелилась, сворачивалась в кольцо, и

тогда казалось, что она хочет укутить за палец. Бросив пиявку обратно в воду интересно было наблюдать, как она моментально расправлялась, вытягивалась и волнообразной лентой скрывалась в глубине.

Ходили мы на противоположный берег только купаться — около асфальтового завода образовался природный песчаный пляж. Однако недалеко, немного подалее, где на берегу росла ещё одна группа старых тополей, было и удобное место для рыбной ловли. В основном там почему-то клевали караси.

Но однажды мы с двумя приятелями ближе к вечеру пошли к тому месту потаскать небольшой бредешок. В основном вся вода у берега с этой затопляемой стороны Цыганки густо заросла водорослями, болотными цветами, оттого дно вязко удерживало ступни. Быстро темнело. Мы уже собирались идти домой, как вдруг в сетке среди вытянутых нами на берег тёмно-зелёных прядей водорослей светливо зашевелилось что-то чёрное, продолговатое. Оно заползало, стараясь скрыться в траве. Поначалу мы испугались — змеи! Но потом бросились ловить руками расплзающуюся в разные стороны добычу. Это оказались вьюны. За тот вечер мы их поймали довольно много. Тёмные, скользкие, бесчешуйчатые, издающие попискивающие звуки, они ползали в ведре, словно громадные черви.

Вспомнил я этот улов только потому, что ни до нас, ни после я никогда не то чтобы не видел, но и не слышал, чтобы кому-то ещё попадались в озере эти рыбы.

Однако чаще всего мы ловили, конечно, с берега, на удочку. Добывать рыбу бреднем была прерогатива взрослых, среди которых время от времени появлялись просто профессионалы.

В той самой протоке у асфальтового завода, о которой я упоминал, в основном добычей занимались одни и те же мужчина и женщина — вернее всего, семейная пара. В специальных прорезиненных костюмах химзащиты они смело входили в глубокие места, перегораживали русло крупноячеечной сетью и затем с шумом ударяя палками по прибрежным зарослям с разных сторон загоняли рыбу в расставленную ловушку.

Вынимая сеть из воды, выпутывая из ячеек крупных отливающих золотом и почти круглых по своей форме красных карасей, они всегда были недовольны уловом, морщась, бросали рыбу на изумрудно поблескивающую влагой траву, при этом приговаривая: «Разве это добыча!». Мальчишек такое отношение к крупным карасям возмущало. Нам самим никогда не приходилось ловить подобные экземпляры. Мы и завидовали профессионалам, и в душе недолюбливали — как конкурентов.

Промышляла эта пара и во берегам Цыганки. Как-то в ненастный серый день я в одиночестве пришёл к озеру. Было воскресенье, но пустынно и только «профессионалы» возились у ближних тополей со своей снастью. Вдоль противоположного берега шла подгулявшая в честь выходного дня компания из пятиэтажного дома, что стоял напротив моего.

Мужчины и женщины направлялись в сторону асфальтового завода. Далее их путь должен был лежать к броду через протоку. Но вот от этой компании отделился один из мужчин и вошёл в воду. С берега ему кричали, чтобы не плыл, а пошёл с ними. Но не настойчиво, а так, со смехом. Мужчина ответил, что он быстрее переплывёт, чем они обойдут озеро вдоль берега. Женщины, весело переговариваясь, отправились своей дорогой.

Я скачущие сидел высоко на склоне ближе к железнодорожному полотну, сразу за собором, где трава росла наиболее густо, стелилась шелковистым ковром, и невольно наблюдал за происходящим.

Мужчина уже переплыл середину озера, когда вдруг замер на воде, опустив в неё лицо. Облысевшая голова и плечи безжизненно покачивались на невысоких волнах. Слабый ветерок пасмурного дня не торопился прибить к берегу омертвевшее тело.

Прошло довольно много времени, прежде чем, обойдя озеро, остальная компания озабоченно приблизилась к нам. Рыбаки боязливо обошли

утопленника сетью и так притянули к берегу. Я не стал к нему подходить ближе, чтобы рассмотреть. В детстве мёртвое тело всегда вызывает неосознанный страх. К тому же, когда на твоих глазах всего несколько минут назад человек был ещё жив.

Да и узнал я этого мужчину. Он держал злую собаку породы бульдог по кличке Найда. Когда её выпускал гулять во двор, мы, детвора, разбегались по квартирам. Собака с лаем бросалась на случайных прохожих, бегала по кварталу без поводка и намордника, грызла перила детских горок, рылась в песочницах, таскала в слюнявой пасти игрушки, которые от неё не успевали спрятать.

Родители пытались договориться с владельцем Найды, как-то его устыдить, уговорить, чтобы придерживал собаку, но он неизменно на это отвечал, что ему бульдог «намного дороже всех ваших детей», и продолжалась вольная жизнь этой собаки в просторстве между четырёх наших домов — как в собственном вольере.

Теперь хозяин собаки лежал в воде, уткнувшись мёртвым посиневшим лицом в прибрежные камыши. Не помню криков, плача, суеты вокруг тела. Может быть, это были малознакомые ему люди. Впрочем, я почти сразу ушёл домой. Говорю же — боялся покойников. А только после этого случая и Найда с нашего двора куда-то исчезла.

Вообще, озеро, несущее в своём названии нечто мистическое, вполне его оправдывало. Не раз мне приходилось видеть, как на его берег из воды вынимали утопленных новорождённых младенцев. Это страшное зрелище. Потому, только завидев возбуждённое скопище людей, я обходил это место стороной. Но от досужих пересудов куда денешься, и потому ужасная весть всегда тем или иным способом достигала моих ушей.

Недалеко от Цыганки, за свалкой, ближе к порту на Стрелке, около некогда величественного собора Александра Невского, а в моё детство огромного склада объединения «Горькийрыба», был странный жилой посёлок, состоящий из каких-то крохотных засыпушек, развалюх, сколоченных на скорую руку.

Подобные дома оказались жизненным прибежищем не для одного поколения отцов и детей. Что и говорить, нравы в этом месте царили нешуточные. Обитал в развалюхах контингент соответствующий, между одной и другой тюрьмой недолго в нем задерживающийся. Потому и грешили во всех криминальных случаях на жителей Стрелки, хотя на самом деле всё могло быть далеко не так, и злодейство совершалось где-то в другом, внешне вполне благополучном месте.

И всё-таки, несмотря на столь зловещие события, порой происходящие на берегу озера, Цыганка была почти центром всей нашей детской жизни. Особенно той, что всегда оставалась сокрытой от родительских глаз.

Здесь мы учились самостоятельно плавать. Здесь на разожжённых кострах в консервных банках плавил свинец, добытый из старых автомобильных аккумуляторов, чтобы затем его залить в выдавленные в земле формы кастетов или грузилов для донок (они были нужны для ловли рыбы на Оке и Волге). Здесь узнавали мир птиц и рыб, цветов и деревьев, добра и зла.

Иными словами, здесь мы входили в самостоятельную жизнь, и вхождение это почти всегда было простым. Порок и доброта немислимо переплетались на наших глазах в нечто естественное, что должно было нас сопровождать всю дальнейшую жизнь. Избавиться от этого, невольно приобретённого в детстве опыта, в дальнейшей жизни было невероятно сложно.

Именно на берегу Цыганки я впервые испытал, что это такое — ночная рыбалка.

Не верилось, что родители на неё отпускают, но это чудо произошло. И вот мы, ватага мальчишек, зажигаем на берегу костёр, поначалу дурачимся, задираем друг друга, рассказываем под дружный хохот всякие



глупости, но в скором времени утомлённо затихаю, устраиваемся поплотнее к пламени, а оно уже спадает, костёр догорает, потому что никому не хочется в наступившей темноте искать для него дрова, и потому начинаем смотреть в небо.

Оно чудесно — усыпано звёздами (для городского мальчишки увидеть такое небо — неожиданное откровение), и только изредка их закрывают тёмные тени движущихся облаков. Некоторые из нас засыпают прямо тут на земле. Им непременно готовят какой-то подвох. В группе всегда найдётся любитель напакоstitь.

Незаметно проходит ночь. Наступает раннее размытое серостью утро, но уже никому не хочется ловить рыбу. Поплавки заброшенных с вечера удочек давно прибило к траве и камышам. Поднявшийся ранний ветерок теребит их безжизненно, отстранённо. Видно, что ни у кого ни одной поклёвки не было. Но главное произошло — самостоятельно, вне дома проведена ночь. Это рождает в душе неповторимое чувство зреления.

Я сматываю свою удочку и ухожу с берега, поднимаюсь на железно-дорожную насыпь. Сюда в тупик загнан состав из пассажирских вагонов. Вагоны старые, внутри них деревянные сиденья, и под потолком для освещения — специальные ниши, закрывающиеся стеклянными дверками. В этих нишах огарки парафиновых свечей.

Иногда мы находим вагоны с незакрытой дверью и забираемся в них. Тут особый, ни с чем несравнимый запах. Если залезть на верхнюю полку, то можно дотянуться до фонаря, открыть закопчённую дверку и взять свечку. Но сейчас в это раннее утро вагоны меня не интересуют.

Я подлезая под них у самых колёс. Из бухт тянет запахом машинного масла — таким знакомым для меня, потому что, когда состав трогается, а ждать покуда его весь протянут, не хочется, я выбирал движущийся вагон, на взгляд более удобный, чтобы под ним как можно быстрее пролезть (в чём это удобство заключалось, чем один вагон для меня отличался от другого, я теперь сказать не берусь), нырял под не набравший скорости состав у передних колёс, и пока задние колёса вагона доходили до того места, где я только что стоял, успевал выскочить на другой стороне рельсов. Но запах успевшего разогреться от начавшегося движения колёс машинного масла словно навсегда впитался в мою память.

Сейчас вагоны спали, и я без всякого труда и опасения пролез под ними.

Я не пошёл по тропинке между огородами и домами к Староярмарочному собору, а направился по более широкой дороге, между огородами и забором своей школы, в которой к тому времени уже учился. Летом школа выглядела неживой. Трёхэтажная, выстроенная из белого силикатного кирпича, в те далёкие годы она считалась самой новой в нашей округе. В ней с первого по восьмой класс учились все дети с Сибирских пристаней и Стрелки, Ярмарки и улицы Советской, домов Германия и Медведей, Мельничного и Коммунстроя... Со всех ближайших бараков, в которых и жить-то, казалось, было невозможно — один туалет на огромные коридоры, крохотные комнатки без окон, в которых весь день для освещения горят электрические лампочки, где стенки, отгораживающие одну квартиру от другой, сколочены из горбыля и листов фанеры.

От школы, мимо старого, добротного деревянного дома с садом вышел к паперти бывшего собора. Оттуда наискосок прошёл в наш квартал, к своему дому.

В квартире встретила, открывая входную дверь, заспанная мама:  
— Что, нарыбачился?

Ответив неопределённо, невнятно, я раздеваюсь и ложусь на своё место на диване. Засыпаю сразу. И мне видится вновь ранняя гладь утреннего озера, прибитый к осоке поплавок, остывшие угли давно потухшего костра...

Но это летом...

Совсем другие ощущения озеро порождало зимой.

Рыбу в нём в это время года не ловили. Зато в больших количествах добывали мотыля для любителей зимней рыбалки. Для этого существовал целый промысел. Им занимались мужики, все как на подбор одетые в длинные брезентовые плащи выцветшего защитного цвета. Укутывались они тепло: на головах шапки-ушанки (старые, потёртые, негодные для выхода в город), лица от мороза красные, обветренные.

Когда озеро замерзало, эти добытчики делали во льду квадратные проруби размером примерно метр на метр. Туда на длинном шесте опускали приспособление, что-то в виде черпака, только смастерённое из мелкой металлической сетки. Этим черпаком со дна озера доставали ил, тут же его промывали, а всплывшие на поверхность кроваво-красные червячки мотыля (личинки комаров) аккуратно собирали марлевым сачком в большую металлическую коробку.

Мыв столько, сколько требовалось, мужики шли продавать мотыль к автостанции «Канавинская», что недалеко от Московского вокзала. Стандартная мера отпуска мотыля — спичечный коробок. Сколько это тогда стоило — не помню. Только торговля всегда шла бойко.

Мне не очень нравилось наблюдать за добычей мотыля. Около таких прорубей утопанный снег чёрен, грязен, но когда по озеру катался на лыжах, то любопытство брало своё, и я подъезжал поближе, наблюдал за процессом этого промысла.

Зато совсем другим озеро представляло поздним вечером.

Большое пространство бело и пустынно. Рядом ни огонька. Лунный свет сумрачно освещает лыжню, что вьётся по краю, где лёд налезает на берег. В такое время испытываешь чувство некой таинственности, подходя к не замёрзшей проруби. Хотя вода в ней на поверхности успела загустеть.

Заглядываешь в эту непонятную чёрную бездну — как в потусторонний, пугающий, иной мир, в котором сейчас страшно очутиться: верная смерть. Но смотришь... смотришь не отрываясь, словно заворожённый неведомой силой.

И вдруг видишь, как маленькая, светленькая рыбка, уклейка откуда-то из чернейшей глубины поднялась на поверхность, чуть пошевеливая хвостиком, проплыла от одного края льда к другому, и тут только заметив твоё неловкое движение (холодно стоять у воды не шевелясь), лениво, словно нехотя, по обязанности, с сожалением о быстром расставании, опять ушла в непроглядную, бездонную глубину.

А кроме тебя и этой крохотной рыбки, кажется, во всём мире нет живых существ. Потому с её исчезновением охватывает душу безмерное чувство одиночества, хочется побыстрее подняться по склону вверх, увидеть огни школы (там учится вторая смена, а в спортивном зале занимается секция борьбы), почувствовать близость родного дома.

Во времена моего раннего детства, в начале шестидесятых годов прошлого века, зимы отличались долгими морозами. По утрам по радио нередко делались объявления, что из-за слишком низкой температуры с первого по четвёртый классы занятия в школах отменяются. Для нас, мальчишек, это оказывалось большой радостью. Значит, можно вволю погонять шайбу на улице или покататься с горки на берегу Цыганки, попрыгать на лыжах с невысокого, сооружённого из слежавшегося снега, самодельного трамплинчика.

Но главным занятием был, безусловно, хоккей. Тротуар нам становился полем для игры, высокие сугробы по бокам — бортами, найденные ледышки — штангами, обозначающими створ ворот. Не все из нас имели магазинные клюшки. Кто-то мастерил сам вполне добротные из палки и выпиленной фанерки, кто-то приспособливал для игры отслужившие

свой срок новгородные ёлки. Для этого с невысокого деревца срубались все ветки, тонкий конец подтагивался к стволу и образовавшееся пространство плотно «зашнуровывалось» обрывком бельевой верёвки. Срок таких клюшек недолог, но и их хватало на какое-то время.

Раскрасневшиеся, захваченные азартом, мы без устали гоняли чёрный резиновый кругляш шайбы до тех пор, пока совсем не выбивались из сил, или пока не появлялась разгневанная обнаруженным на тротуаре беспорядком дворничиха. Дети доставляли огорчение трудолюбивым дворникам, которые скребла беспрестанно лопатами снег вдоль наших домов. Потому они и прогоняли нас с вверенного под их неусыпный контроль участка. После этого мы разбегались по своим квартирам.

Конечно, у кого были бабушки, тот в наших играх на неурочном морозе не участвовал. Таких из дома не выпускали, и мы их за это презрительно называли «бабушкиными сынками». Хотя, надо признаться, мало за кем из нас осуществлялся подобный надзор. У большинства родители работали, а мы оставались предоставленными самим себе — без ограничений. Потому, после обогрева, по договорённости, вновь собирались гурьбой на улице, теперь уже с лыжами, и побыстрее прошмыгнув мимо школы, оказывались на высоком склоне озера Цыганки. Чтобы с него скатиться, да ещё там, где покруче, требовалась индивидуальная, а не командная, как в хоккее, смелость и сноровка.

В погожие выходные дни, когда солнце заливало белое пространство нетерпимо вольным золотистым светом, заснеженное поле озера оказывалось заполненным лыжниками из близлежащих домов. Меццерское озеро в этом отношении выглядело почти нетронутой целиной. Люди вдоль берегов Цыганки катались по большому кругу, не сходя с плотной, чуть не до обледенения накатанной лыжни (её проложили старшие ученики нашей школы, чтобы можно было сдавать нормативы во время уроков физкультуры), слышались смех, вскрики несущихся вниз с горки взрослых и детей. И в этом радостном, возбуждённом столпотворении многих отцов, матерей, сыновей и дочерей (так редко у них у всех получалось быть вместе) ощущалось неувимое дыхание неурочного праздника.

В будни, особенно в морозные дни, пространство озера оказывалось пустынным. Тут уж нам никто не мог помешать воплотить в жизнь самые дерзкие замыслы: например, устроить соревнования по прыжкам с трамплина до тех пор, пока у кого-то не сломаются лыжи. А ещё прыгать через всё тот же трамплин на самодельных санках — согнутых из толстого арматурного прута в виде салазок. Всё это слыхом рискованно, при недобром стечении обстоятельств, грозило обернуться травмами и даже увечьями, но разве мы об этом тогда думали. Всегда находился какой-то провокатор, который «заводил» остальных, сам при этом стараясь оставаться в стороне. Ну а мальчишки, чтобы их не заподозрили в трусости, шли на безрассудные поступки.

Но вот морозы иссякали в своей крепости.

В один из таких дней я и отправился «обследовать» территорию асфальтового завода. Деревянный забор, окружавший это производство, давно имел довольно широкие свободные проходы. Я пробрался в один из них, залез на непонятную металлическую эстакаду, даже сейчас, зимой покрытую толстым слоем белой щёбёночной пыли, трогал ладонью, закутанной в варежку, связанную для меня мамой, непонятного предназначения рычаги и приборы уснувшей на выходные дни громоздкой машины.

Вновь спустившись на землю вдоль забора, мимо огромной, перепачканной машинным маслом туши трактора пробрался в сарай, в котором небрежной россыпью хранилось невероятное количество чугунных шаров разных размеров — словно детские чёрные с рыжеватостью ржавчины резиновые мячики кто-то нерадивый неаккуратно рассыпал в ограниченном сумеречном пространстве...

И тут, как показалось — совсем близко, раздался выстрел из ружья. Выбравшись с территории завода, я довольно быстро, через разросши-



еся кусты, что мертвою оледёнными торчали из снега, пробивая тропинку в снегу, вышел на объездную дорогу, и тут увидел двух мужчин. Один держал в руках новенькую красивую двустволку, другой на согнутом локте белую сову. Большая птица ранена. Она ухватила руку своего врага мощными когтями и, застывши, словно потрясённая случившимся с ней, глядела вперед, не поворачивая головы.

Пока можно было, я с восхищением и жалостью разглядывал белое, в темных отметилах оперенье великана. До тех пор, пока двое не отправились в сторону проходной завода. Тогда я вернулся к трактору.

Этот металлический исполин был мне знаком. Ещё раньше, осенью видел его повержено-беспомощным на лугу, недалеко от площадки для тренировки собак.

За Цыганкой, ближе к железнодорожной насыпи, что вела к мосту через Волгу, под мощными старыми тополями были сооружены приспособления для обучения служебных собак. Несколько раз мне пришлось наблюдать за этим процессом. Особенно захватывающим выглядело нападение овчарок на человека, одетого в толстые ватные штаны и фуфайку. Почти без лая мощная овчарка набрасывалась на этого неповоротливого человека. Вцепившись в локоть, защищающий лицо, она начинала неистово рвать его клыками.

Наблюдать за такой тренировкой можно было только на значительном расстоянии, в отдалении, чаще всего от того самого острова разросшегося лозняка, что образовался у первого деревянного железнодорожного моста запасной ветки.

Господи, где только меня не носило в детские годы.

Оттуда, из лозняка однажды и увидел, как от асфальтового завода к тополям, на тужно ревя двигателем, по топкой пойменной луговине пробирается трактор. Захотелось узнать: что он там будет делать?

Я направился к тополям. Но трактор до них не добрался, увяз в непрочной, много раз затопляемой в половодье, ненадёжной почве. Увяз так, что только кабина выглядывала из болотистой ямы. Тракторист сокрушённо стоял рядом, переживал.

Любопытство заставило меня подойти ближе. Тогда и услышал его горькое раскаяние:

— Соблазнился получить три рубля, чтобы повалить тополь на дрова... Теперь из-за меня завтра завод стоять будет.

Но это было осенью. А вспоминал я о случившемся в только намечающиеся дни будущей весны.

Выйдя за забор, вновь встал на лыжи, покатил в сторону Староярмарочного безкрестового собора, поближе к дому.

Но запомнился мне и ещё один необычный случай.

Однажды поздней осенью лёд на Цыганке встал непривычно быстро. Он был не крепок, и если по нему пробежать, то под ногами начинал волнисто колыхаться. Но зато первый лёд всегда до удивления, до зеркальной отражённости ровен, чист и прозрачен. В этот раз местные мужики ринулись на рыбалку не с удочками, а с топорами. Видимо, от нехватки кислорода крупные белые караси поднялись кверху в поисках свободной воды, в поисках проруби, но спасительного воздуха не было. Рыбу же сквозь тонкий лёд хорошо видно. Там, где она стояла, топорами вырубали маленькие лунки, и караси оказывались на льду. Такую рыбалку пришлось увидеть мне тоже только раз в жизни.

Как и страшный мор рыбы по весне.

Не помню, по какому случаю ранним утром я оказался на берегу Цыганки, только вдруг обратил внимание на несколько довольно крупных дохлых щук, лежащих на дне недалеко от берега. Пошёл дальше и стал всё больше и больше замечать под водой дохлых рыб. Это меня настолько поразило, что я бегом вернулся домой и рассказал об увиденном отцу. Он традиционно мне не поверил (отец почему-то в детстве считал меня

отъявленным лжецом — это не могло меня не обижать, и вот невольно осталось горькой памятью на всю жизнь), но я настоял, и он всё-таки сходил со мной к озеру.

В общем — Цыганка хранила много тайн, но как я уже отмечал — в окружении наших домов это озеро было не единственным.

#### 4

Другие четыре напоминали продольные пруды. Первые два верхним своим концом упирались в улицу Совнаркомовскую, а нижним — в улицу Должанскую. Вторые два, как бы их продолжение, от Должанской почти доходили до озера Цыганки, от которого их отделяли небольшие болотистые клочки суши. Но и то и другое имели к озеру продолжение в виде высохшего русла, над которыми были возведены два деревянных железнодорожных однопольных моста — одни из любимейших мест наших игр.

Только намного позже, увидев репродукцию старинной гравюры с планом Нижегородской ярмарки, я узнал, что это действительно была единая система каналов, по которой баржи с товарами подходили к складам и пристаням. С Волги они заходили в Мещерское озеро, оттуда через особый прорытый перешеек (та самая протока у асфальтового заезда) попадали в водную систему Нижегородской ярмарки, где главным пространством и было озеро Цыганка.

Всё это для меня станет известным потом.

О столь интересных фактах, связанных с той местностью, где мы жили и учились, нам почему-то никто ничего не рассказывал. Зато в школе торжественно отмечали такие «великие» для России праздники, как взятие крепости-тюрьмы Бастилии в Париже, дни Парижской коммуны... Впрочем, это отдельная и не менее интересная тема — школьная жизнь в середине шестидесятых годов двадцатого века в СССР. Сейчас же я рассказываю совсем о другом.

В свои детские годы, вплоть до того времени, когда водоёмы оказались засыпанными и замытыми речным песком, я считал, что это извечно существующие на этой земле самостоятельные озёра. К тому времени они оказались довольно загаженными по берегам промышленным и бытовым мусором. С точки зрения рыбной ловли тут вроде бы вовсе не о чем писать. Однако так могло показаться только на первый взгляд совсем не сведущему в этом вопросе человеку.

Если встать спиной к Староярмарочному собору, а лицом к Главному торговому дому Нижегородской ярмарки, то зеркало первого озера слева у железнодорожного моста заканчивалось как бы небольшим заливчиком. Вверх по склону забор школы № 176, за которым разбита часть сада-огорода для практических занятий учеников по ботанике, а немного левее цех лесопилки с громадной кучей древесных опилок, под которыми каждый год до середины лета сохранялся пласт обледенелого снега.

Далее старый двухэтажный жилой дом-барак и фабрика, которую мы почему-то называли галантерейной. Видимо, это так когда-то и было, потому и передавалось старое название местными жителями из поколения в поколение. Хотя на самом деле там изготавливали чемоданы. Кучи старой неиспользованной металлической фурнитуры (чемоданные замки, уголки, скобки для ручек) бесхозно ржавели на берегу озера, да и в самой воде.

Все эти здания продолжают существовать по сию пору, правда, изменив своё первоначальное назначение, если срок этого назначения отсчитывать от моих ранних детских лет.

Так вот — на этом участке озера как-то вдруг крупные белые караси начали всплывать на поверхность и как бы глотать воздух ртом. Что этому послужило — мне трудно сказать. На противоположном берегу находилась большая автобаза, может быть, оттуда что-то слили в воду,

только ушли местные мужички, прознали про удивительное явление, тут же бросились вылавливать беспомощную рыбу сачками.

Следующее озеро, что находилось между улицами Должанской и Совнаркомовской, мне мало чем запомнилось. С левого берега у него стояли жилые барачные дома. С правого — такое же длинное старинное здание красного кирпича, в котором разместились склады, пункт приёма стеклопосуды, что-то ещё мало примечательное и потому совершенно не запомнившееся. Но и тут умудрялись жить люди, обустроив для себя нечто наподобие квартир.

О берегах этого озера уже ничто не напоминает. На месте снесённого старинного дома позже, когда водоём завалили песком, построили пятиэтажный жилой дом из белого силикатного кирпича.

Справа от собора параллельно левым, жили своей жизнью два других озера. Если смотреть на них со стороны Цыганки, то левые их берега были неприступны. Вода подходила прямо к зданиям, зато правые выделялись большими старыми тополями, толстыми в стволах с высокими раскидистыми кронами. Сейчас тоже о тех берегах ничто не напоминает, только один дом у бывшего гаража «Горгаза», который раньше был баракком, а теперь благоустроен и стал вполне жилым, соединяет мою память с тем далёким прошлым временем.

Я помню, как ломали длинный дом, который в своё время тоже заселили люди. Думаю, изначально это были складские помещения, но после революции 1917 года обжитые, разбитые на квартиры-клетушки приехавшим в город в поисках лучшей жизни народом из многих русских деревень. Он был крепкий, сложенный из старого красного кирпича, а вместо подвала под ним обнажился каменный свод, то ли туннеля, то ли подземного водного канала.

Среди нас, мальчишек, ходили упорные слухи, что этот подземный туннель ведёт к Главному ярмарочному дому и омывает водой его дубовые сваи. Легенда, или тут есть доля правды — мне сказать трудно.

Я помню, что со стороны старых тополей рыбу в озере ловили, но ничего особенно примечательного в связи с этим в моей памяти не сохранилось.

Правда, на оконечности пруда, всех ближе к деревянному мосту, находилось одно, крайне в наши детские годы привлекательное место — фабрика стеклянных ёлочных новогодних игрушек.

Название «фабрика» для этого небольшого одноэтажного помещения с низкими окнами — звучало слишком серьёзно. Вернее всего, это был цех небольшой артели, а, может быть, и государственное производство, в котором женщины, сидя за специальными столами, выдували из стекла красивые формы: сосульки, шары, бочонки, зайчиков, мишек, мальчиков-индийцев... Затем их покрывали краской, разноцветной пудрой, красиво, сказочно блестящей на солнце или при электрическом свете.

Нам разрешалось наблюдать за работой в цехе, прижавшись с улицы носами к стёклам окон. Женщины, заметив нас, улыбались, разговаривая между собой, смеялись, кивая головами в нашу сторону.

Насмотревшись, как появляются на свет игрушки, мы шли «на свалку» — место, куда вываливался брак. Там по-особенному сладко пахло чем-то химическим. Роясь в мелких как песок, безопасных осколках, нам удавалось находить почти целые игрушки. И тогда это была радость.

Так два параллельных пруда у железнодорожных мостов и отличались: у левого — куча опилок, у правого — куча стеклянного мусора.

Второе озеро, то, что за улицей Должанской, являло собой более благоустроенный вид. Здесь клевали на удивление крупные окуни.

Но вначале давайте и здесь вспомним его берега.

С левой стороны возвышались корпуса какой-то фабрика. Чтобы к ней подойти, необходимо было миновать пространство, занимаемое двухэтажными деревянными сараями, привлекательными для нас, местной детворы, своими лестницами и балконами для игр в войну. Че-

рез дорогу проходная фабрики. Каким производством она занималась, сказать не могу, только врезалось в память: тюки то ли ваты, то ли хлоп-ка; невероятно пронзительный гудок, зовущий новую смену к станкам; огромный тополь у проходной, который ещё долго рос после сноса цехов — но и его в итоге спилили.

Оканчивалась территория фабрики пивным ларьком, недалеко от которого жил своей непростой жизнью Канавинский вытрезвитель, куда на мотоцикле с коляской свозили подгулявших мужичков с окрестных улиц.

С правого берега от тополей через дорогу выстроены больница, школа № 143 (эти здания и теперь пока сохранены) и техникум Советской торговли.

Окуней тут приходилось ловить у фабричной стены. Там был удобный небольшой мысок, около которого глубина позволяла надеяться на удачу. Сам я редко сюда ходил, но всё-таки бывал. Для нас это место являлось не то чтобы отдалённым (далеко ли от красных домов с Пушной набережной до улицы Должанской?) — скорее непривычным, оттого, видимо, и уловом отсюда похвастаться не могу.

Почему именно в этом месте водились окуни? Вернее всего, дело всё в том же большом разливе.

Тут мне приходит на память один из них — особенный. Тогда вода в Цыганке и бывших каналах поднялась настолько, что по Должанской пройти оказалось невозможно, хотя она высокой насыпью разделяла пруды, и чтобы пробраться в продовольственный магазин, приходилось идти в обход по Совнаркомовской мимо «Пельменной» и вытрезвителя по специально сооружённым из досок тротуарам, поднятым на высокие деревянные козлы. Потому и рыба заходила в эти отдалённые уголки, хоть с Волги, хоть с Мещерского озера.

Надо сказать, что почти со всеми этими озёрами и прудами у меня связаны свои происшествия, в полном смысле этого слова трагические истории, но сейчас вспоминать о них будет не к месту. Пусть уж хранятся только в моей памяти, раз жизнь ничего не оставила для их материального подтверждения. Всё снесено, засыпано и замыто многометровыми толщами песка и, может быть, я последний, кто о том прошлом может сейчас рассказать.

Улицу Совнаркомовскую полностью перестроили к 1970 году, когда в стране торжественно отмечали столетие со дня рождения В.И. Ленина. Тогда на месте уничтоженного вытрезвителя и всем, что было рядом с этим примечательным заведением, начали сооружать площадь имени основателя Советского государства, заодно снеся здания и на улице Советской.

На месте бывшего канала, прямо над ним, возвели дома по Бульвару Мира, который всё никак не приобретёт благообразный вид. Разве что бывшее здание Канавинского отделения милиции, тесно зажатое серой громадой вновь выстроенной гостиницы, дальним эхом напоминает о прошлом и, как оказалось, не забыто.

## 5

Основная рыбалка для нас, местных мальчишек, была на Оке, «на камнях».

Чтобы пройти к Оке, нужно было миновать ряд двухэтажных каменных барачков, которые окружали с трёх сторон Главный ярмарочный дом, но в основном они располагались за ним в сторону Староярмарочного собора. Перед Домом цвёл ухоженный сквер с клумбами. В жаркие летние дни дети бегали плескаться и даже купаться к фонтану, что перед его парадным входом извергал потоки прохладной воды.

Пришло время, бараки сломали, и на их месте стали воздвигать серые пятиэтажные панельные дома. Эти стройки оказались самым привлека-

тельным местом для наших игр, особенно по вечерам, в свете прожекторов высоких строительных кранов. Но это осенью, а летом...

Летом мы бежали к Оке.

Склоны левого берега реки во времена моего раннего детства уже были залиты бетоном, но от его обрыва до воды берег оставался заваленным крупно наколотыми глыбами белого камня.

Теперь от тех глыб не осталось и следа — их замыло паводковым илом, на образовавшейся почве разросся кустарник, появились первые робкие ростки тополей. Но в годы моего детства берег представлял взгляду оголено-обрывистым. Напротив теперешней автобусной остановки «Стрелка» спускалась к нему деревянная лестница. По ней женщины осторожно пробирались с тяжёлой поклажей — ворохами белья для стирки. Потому что именно в этом месте многие годы неизменно причаливался большой плот с оборудованными для стирки прямоугольными отверстиями.

Для нас этот плот — одно из любимых мест купания. Тут и нырять можно с разбега сразу в глубину, и играть в догонялки на воде: подныриваешь под плот и неясно, в каком из отверстий вновь покажется твоя голова.

От этой мойки до пристани «Канавинская» (если брать по сегодняшнему расположению — до автобусной остановки «Площадь Ленина») берег сплошь покрывали каменные глыбы. Вот с них мы большей частью и таскали на удочку ершей. А когда надоедало, раздевались и прыгали в воду.

Стоял ближе к Канавинскому мосту по улице Советской выходявший одной стеной на берег каменный дом, в котором размещалось общество собаководов, да его разрушили. Однако за ним ещё долго оставалась на своём месте самопроизвольная стоянка самодельных деревянных лодок, которые цепями гроздьями пришвартовывались к берегу. С кормы этих лодок тоже удобно ловить мелкую рыбёшку, но только до тех пор, пока не появлялся хозяин одной из лодок и с непотребной руганью не прогонял незадачливых рыбаков.

Ерши в те времена ловились в невероятно большом количестве. Сейчас у меня такое впечатление, что, став постарше, я всё лето проводил на берегу Оки: или на камнях, или на острове — пляже, рассекающим русло реки на две неравных по ширине части.

Фарватер оставался за островом, но и по протоке с нашей стороны проходили баржи к бывшей Канавинской Башкировской мельнице, разгружали в огромные серые бетонные бочки элеватора зерно, двигались другие суда, для чего днём приходилось разводить понтонный мост, соединяющий Набережную Марата с Гребнёвскими песками.

Когда я купался с камней, то неизменно переплывал на остров, чтобы не делать по берегу большого крюка в обход по понтонному мосту.

Сейчас диву даюсь — какими бесстрашными сорванцами мы росли. Мало того, что Ока в этом месте имела сильное течение, так ещё множество моторных лодок-«Казанок» и катеров «Прогресс» (была в те времена такая невероятно большая мода на эти судёнышки из дюралюминия, что у кинотеатра «Летний» на Набережной Марата в самом конце сквера и у ресторана-дебаркадера «Чайка» была организована официальная стоянка для этих лодок) сновали туда-сюда по нашему рукаву реки.

И всё-таки, несмотря ни на что, ни на какие опасности, мы умудрялись по несколько раз в день переплывать на остров и возвращаться обратно на родной берег.

Лишь однажды на время ко мне не то чтобы пришёл страх, но как-то не по себе стало пересекать глубокое место протоки.

Дело в том, что в один из полдней мы, мальчишки, обратили внимание на странный предмет, похожий на волосатый мячик, плывущий по течению Оки. Скоро догадались — это утопленник. Тело его опущено вниз, скрыто под водой, и только голова с грязными волосами, покачиваясь на волнах, то больше показывалась, то почти скрывалась в серой речной воде.



Всё с тех же деревянных лодок, соорудив петлю из найденной на берегу проволоки в белой оплётке, старшие ребята сумели соорудить петлю, набросить её на голову проплывающего мимо утопленника, подтянуть тело к берегу. Это оказался мужчина в плавках. Вполне возможно, какой-то смельчак, не рассчитавший собственных сил. А возможно, виной смерти алкоголь. Всё это уже неважно. Только с тех пор память всякий раз напоминала мне о выныривающей из глубины голове, когда я переплывал на остров. Так и казалось, что нечто подобное вот сейчас может ударить мне в живот, или рука наткнётся на мёртвое тело.

Но детские страхи недолговечны и быстро проходят. Недели через две об утопленнике я уже не вспоминал, а как и прежде, наловившись с камней ершей, уплывал на противоположный песчаный берег понежиться на раскалённом песке.

В этом месте на пляже, куда я приплывал, никто никогда не ловил рыбу. Весь остров, возвышающийся в середине невысоким гребнем, шириной метров семьдесят, длиной от Бугровской мельницы и немногим далее опор Канавинского моста, представлял из себя сплошную песчаную отмель, только по самым оконечностям отмеченную небольшими зарослями лозняка.

Порой в этих зарослях шла своя жизнь, невольными свидетелями которой мы иногда становились. Но это к теперешнему моему повествованию не имеет никакого отношения.

Сегодняшним жителям города трудно представить остров таким, как я его описываю. Он превратился в сплошной и, похоже, непроходимый лес. Мне же помнится, что «совсем недавно» в жаркие дни песок его раскалялся так, что по нему трудно было пройти, не обжигая ступни ног.

Так вот — рыбу на нём не ловили. Её черпали зыбками с понтонного моста, что соединял берег с пляжем. Тут в основном попадалась плоская, блестящая мелкой чешуёй чехонь. Пореже — небольшие стерлядки, ещё реже — язи и подлещики. Незаконных браконьеров пыталась прогнать милиция, сотрудники рыбнадзора, но делали они это лениво и нерегулярно, потому промысел продолжался.

Однако так получилось, что единственный раз в жизни, когда я ловил рыбу вместе с отцом, произошёл именно на пляже.

Отец в моём понимании в рыбацком промысле не был даже любителем, а совершенно случайным человеком, никаким образом не приспособленным к ужению рыбы. Мы вместе пошли на рыбалку, прихватив кроме удочки ещё и донку (длинная леска с несколькими крючками и со свинцовой большой каплей на конце, имеющей форму столовой ложки, выплавленной мною на берегу Цыганки всё из тех же решёток отслуживших свой век автомобильных аккумуляторов). Я всячески убеждал отца пойти на камни, но он упорно настаивал на пляже. Конечно, ловить на удочку с песчаного берега совершенно невозможно — слишком мелко. Тут он долго и полого уходил в глубину. Неподходяще место и для заброса донки, но отец попытался закинуть в воду и то, и другое.

Дождливый серый день. Пляж пустынен — кроме нас, на нём ни одного человека. На поплавочную удочку — ни поклёвки. И только при перебрасывании донки снимали с крючков по несколько ершей.

Обо всём этом недоразумении можно бы и не вспоминать, если бы не то обстоятельство, что, обращаясь памятью в своё детство, я почти не вижу в нём отца. Редкие искорки поблескивают в ней с его участием, да и то, большей частью, курьёзные.

Конечно, отец любил меня. Но он был молод, занимал руководящие должности, много работал, потому редко находил время для общения с сыном. А, возможно, причина во мне самом. Я рос довольно самостоятельным, одиноким волчонком, не терпящим чьего-либо руководства над собой, над своей свободной волей.

Одна из особенностей характера отца — недоверчивость. Это особенно обижало, а временами неверием в мои рассказы, в мною прожи-

ваемую жизнь — оскорбляло. От этого становилось на душе особенно больно, раз я эти эпизоды помню, пережив по годам земной срок своего родителя. Вот один из таких.

Обычно, ловя рыбу на Оке, я ходил по берегу, выискивая, где лучше клюёт.

Один раз остановился у мостков пристани «Канавинская», от которой уходили небольшие рейсовые «Фильянки» и «Калоши» вверх по Волге и на Мочальный остров. Чаще всего услугами пароходиков пользовались отдыхающие, садоводы и рыбаки.

Тогда стояли у перил пристани, курили и наблюдали за моей ловлей именно рыбаки. И надо же было такому случиться, что именно в этот раз я подсёк крупного леща. Опыта вытаскивания на берег большой рыбы у меня не было.

Я упорно тянул леща на себя, преодолевая сопротивление удилица. Вот показалась его спина, вот он повернулся набок и плашмя, поддаваясь усилию десятилетнего мальчишки, стал приближаться к илистому берегу, к отмели, вот он боком заскользил по отмели у самой кромки воды.

Рыбаки с пристани кричали мне одобрительные слова, подбадривали, что-то советовали, но я ничего толком не слышал. Сердце у меня в груди колотилось от радости. Вот и ко мне пришла настоящая удача...

Голова леща показалась над водой. Он широко раскрыл рот и отчаянно всплеснул хвостом. Я не хотел в это верить, но уже видел — рыба сорвалась с крючка. Лещ ещё лежал плашмя на отмели, но он был уже не мой, был свободен.

Вздых разочарования послышался с пристани. Но ни упрёков, ни насмешек.

Рыба какое-то время осторожно шевелила плавниками, затем резко развернулась и ушла в глубину, скрылась в поднявшейся взвеси прибрежного ила.

Понятно, что все мои повторные забрасывания не имели никакого результата. Понурый, я смотал удочку и отправился домой. Вечером о случившемся рассказал отцу. И вот тут последовали насмешки, обвинения во вранье, уверение, что на такую удочку большая рыба попасться не могла...

Возможно — мелочный эпизод, стоило ли теперь о нем вспоминать? Не знаю, нет у меня ответа.

Только не тогда ли ко мне пришло осознание: свои переживания нужно всегда держать только в себе, в своём сердце. Во вне ты можешь услышать насмешки, пережить недоверие, наконец, зависть, но только не искреннее сочувствие.

А крупную рыбу позже я ловил — и немало. Чаще всего это случалось с лодки, зыбкой, в ночное или совсем раннее время.

Тогда в Оке обитало много мелкой стерляди, хотя попадались и крупные рыбины. Мы ржавым согнутым гвоздём, заранее с вечера приготовленным, открывали замок у одной из причаленных к берегу у Канавинского моста тех самых деревянных лодок. Вёсла, скреплённые цепью, были тут же. И ночь оказывалась в нашем распоряжении.

Город спал. Ночная темнота быстро таяла, и раннее солнце освещало такие незнакомые нам в эти часы, спокойные, лишённые машин и пешеходов тротуары набережных, мост, причальные стенки грузового порта.

Начиная с Оки, постепенно спускались на лодке к Волге. Там на Стрелке чаще всего приходила удача. Сильное течение относило почти к Речному вокзалу и оттуда приходилось грести, преодолевая усталость.

Но зато как приятно возвращаться домой, ложиться в постель, закрывать глаза и ощущать, как река продолжает тебя укачивать своей ровной, спокойной волной.

Эта страсть к ночной рыбалке доходила порой до курьёза.

По окончании восьмого класса все ученики, чтобы получить свидетельство о неполном среднем образовании, сдавали экзамены. Первым значилось — сочинение.

Вместо того, чтобы к нему готовиться, я ночь провёл на воде. Вернувшись домой, прилёг «на минутку» поспать. Сестра, уходя в школу, разбудила, но я вновь незаметно заснул. Проснувшись, с ужасом осознал, что проспал. Экзамен начался больше получаса назад.

Быстро одевшись, побежал в школу, ту самую — у собора.

Но вот новая напасть — забыл взять с собой авторучку. При входе в вестибюле у технички (в то время эти женщины: малограмотные, строгие, следящие за чистотой полов в коридорах, выполняли в школах и функции строгих бабушек) спросил в отчаяние, нет ли у неё лишней ручки. Конечно, не оказалось.

Как побитая собака я открыл дверь в класс.

Уничтожающий, испепеляющий взгляд учителя русского языка и литературы, женщины волевой, строгой, я сейчас не могу передать. Он выражал угрозу и призрение одновременно.

К тому же учеником я числился не из первого десятка, не из тех, кого ставят в пример на общешкольном построении, а вернее всего сказать — нестарательным.

Получив разрешение сесть за парту, занял свободное место.

Вокруг одноклассники с усердием раскрывали одну из трёх тем, излагая свои мысли на специальных листах в линейку, что вырваны из тетрадей и по углам заверены школьным прямоугольным штампом.

Я сидел потерянным, не понимая, что дальше делать.

И вдруг осторожно открывается тяжёлая, высокая, белая классная дверь, в неё заглядывает ставшее заботливым и сочувствующим лицо технички.

— Тут мальчишка ручку спрашивал. Вот, передайте ему, — протянула она комиссии, сидевшей за столом во главе класса, шариковую ручку.

Наступила гробовая тишина, которую через какое-то время нарушил возмущённый вскрик преподавателя русского языка и литературы:

— Ну, Сдобняков!..

Сочинение я как-то написал, свидетельство об окончании школы получил, но о своём разгильдяйстве не забыл и по сию пору.

А виной всему страсть к рыбной ловле.

Спустя тридцать с лишним лет меня по телефону разыскала учительница, что была в той школе нашим классным руководителем, чтобы поздравить с получением очередной литературной премии, на этот раз за книгу «Сопrotивление нелюбви».

Я напомнил ей о том давнем происшествии. Вместе посмеялись.

Вот так вроде бы несерьёзно и быстро всё в нашей жизни проходит и меняется.

## 6

На Волгу ходили рыбачить, кажется, только в одно место — к Ручью. Так назывался нами сильный поток, вытекающий в реку из большого Мещерского озера.

В самом озере ловили рыбу довольно редко, ходить к нему нам было не с руки, потому большей частью рыбачили в круглой заводи, что образовалась недалеко от свалки, на месте которой теперь площадь перед футбольным стадионом, построенным к чемпионату мира. Заводь, как и само озеро, располагалась в низине. Чтобы пройти к Волге, приходилось её обходить.

Свалка оставалась по правую руку. Но перед ней находился заброшенным один чрезвычайно интересный объект.

Как он там оказался — просто невероятно! Даже и сейчас я этого предположить не могу. Формой он напоминал вытянутую капсулу. Это

была камера для погружения под воду на значительную глубину или для каких-то особых испытаний чего-то опасного. Круглые иллюминаторы закрыты невероятной толщины литым стеклом, внутри по бокам прикреплены к округлым стенкам две сетчатые откидные кровати или лавки для сиденья. Открытая дверь для взгляда, привычного к бытовым дверям, представлялась невероятной толщины.

Мальчишкой я не раз залезал в эту камеру, когда шёл к Волге. Залезал ради любопытства, но довольно быстро выскакивал назад, к солнечному свету. Внутри ограниченного пространства оказывалось тесно даже для меня, сумрачно и отчего-то жутковато.

Когда свалку засыпали (на её месте появилось автохозяйство с гаражами и ремонтными мастерскими), то, вернее всего, под толщей песка и земли осталась погребённой и удивительная капсула неведомого предназначения. Уверен — она и по сию пору там, в глубине, под землёй скрывает свою тайну.

Недавно строители метро, ведя под землёй туннель к станции «Стрелка», наткнулись на эту свалку, куда свозили мусор в деревянных коробах на телегах возчики, правившие неторопливыми лошадьми. Отходы собирали из выгребных ям тех самых кварталов, составленных из старых барачков. Обнаруженная свалка доставила метростроителям какие-то особые проблемы. Но о капсуле-батискафе ничего не сообщалось.

Значит, тайна продолжает оставаться нераскрытой.

Волгу от Мещерского озера отделяла не очень широкая полоса суши, по которой в порт проложена железнодорожная ветка. Если идти вдоль нее, то, проходя мимо рядов старинных длинных кирпичных складов-лабазов и соляной базы (огромного холма, насыпанного из соли прямо под открытым небом), попадаешь в место, называемое Сибирские пристани.

Там, вдалеке от прочих жилых домов, располагалось несколько двух или трёхэтажных барачков, в которых жили мои одноклассники.

Об этом месте ещё Максим Горький писал в своих заметках с Всероссийской промышленной и художественной выставки и Нижегородской ярмарки в 1896 году в «Нижегородском листке» № 145:

«На моих глазах за двенадцать лет ярмарка страшно увеличилась в объёме. До 1874 г., времени перехода ярмарочных зданий из казённых рук в частные, ярмарка почти вся заключалась в Бетанкуровском канале, Нижегородской улице и нескольких рядах, идущих от этой улицы к Сибирской пристани. С 74-го года, она начала строиться и с той поры неудержимо всё расширяется вширь и загромождается новыми постройками. В начале 80-х годов берега обводного канала были пусты, потом крупные мануфактуристы стали ставить вдоль их железные барачки... ныне железные барачки уже заменены двухэтажными каменными складами...»

Летом в район волжских складов-лабазов Сибирских пристаней подходили баржи со свежими помидорами или арбузами. Последние нас, мальчишек, интересовали больше всего.

Разгружали баржи вручную в бортовые машины. Мы ждали, когда какой-то арбуз выскальзывает из рук грузчиков, трескался от спелости, и тогда по праву его забирали, съедали, обливаясь сладким соком, сочащимся из мякоти, белеющей сахарным пузырчатым налётом последней стадии спелости. Когда же потери у грузчиков долго не случалось, не вытерпев, мы на повороте прицеплялись к кузову машины, и пока та набирала скорость, успевали скинуть один-два арбуза.

Убегать нужно было быстро, потому что если бы шоферы кого-то догнали, то тому несдобровать. Впрочем, и среди шоферов попадались по характеру совершенно разные люди.

На Волге рыбалка полностью отличалась от окской.

Великая ширь реки, мощное течение, песчаный берег, на который то и дело накатывали волны от проходящих барж и пассажирских кораблей, рабочих катеров и буксиров, тянущих плоты из толстенных брёвен.

Если я уходил от Ручья, то любил рыbachить у мощных стен «Соляной биржи», что спуcкались вниз к воде с высокого берега. Здание оказалось за ненадобностью заброшенным. Пустынно и таинственно выглядели его помещения. Забраться внутрь не получалось, слишком высоки стены, оттого и казалось оно чем-то особенным.

Мог ли я тогда предположить, что из всего мною сейчас вспоминаемого только оно неведомыми путями и уцелеет от бывших Сибирских пристаней.

## 7

Одно из самых ярких запоминающихся событий детства — игра в прятки. Для этого двор, подъезды и подвалы четырёх наших пятиэтажных домов были в нашем распоряжении.

В сумерках большой гурьбой разных возрастов мы собирались вместе, делились на две команды, где, чаще всего, родные братья и сёстры оказывались по разные стороны, определяли жребием, кто первый прячется, а кто водит — и начиналось...

Августовские вечера угасающего лета, что и собирали нас вместе после пионерских лагерей и деревенского житья у бабушек и дедушек, отдавали прохладу туманной сыростью. Раньше обычного зажигались нечастые уличные фонари вдоль тротуаров, но центр двора всё больше погружался в темноту, лишь слегка размываемую электрическим светом, пробивающимся сквозь задёрнутые занавески на окнах квартир, отдавая красным, жёлтым или зелёным оттенками. За этими окнами нас ждали родители, но так не хотелось покидать место у деревянной горки, что осталась не разобранной с прошедшей зимы. Именно о её перила, столбы, кромку ската следовало застучаться, если удавалось обхитрить водивших, опередить их в беге и дважды стукнуть ладонью о потемневшие доски, приговаривая: тук-тук-тук!

Я не любил прятаться в подвалах, где всё пространство разгорожено досчатыми перегородками на поквартирные сараи, в которых сначала хранили дрова для больших металлических печей, которые нужно было топить, чтобы приготовить на них пищу, а когда в подъезды провели газ, использовались для хранения всякого малоценного хлама, картошки, запасов законсервированных огурцов, квашеной капусты, яблочно-го варенья...

Внизу пыльно и пахло кошками, но зато там можно было включить свет, найти самое укромное и незаметное место и, щёлкнув выключателем, затаиться в нём.

Не нравились мне и чердаки. Прежде всего потому, что те хозяйки, которые жили на четвёртом-пятом этажах, зачастую развешивали сушиться выстиранное бельё именно под крышей. Получалось близко и под присмотром. Потому не все люки на чердак оказывались открытыми, да и бдительные соседи могли поймать заигравшихся, надрать уши и пожаловаться родителям.

Но даже если беспрепятственно удавалось проникнуть под шиферную крышу, то вполне можно было угодить под поднявшийся вихрь от крыльев устроившихся на ночь голубей. Птицы залетали в открытые слуховые окна, рассаживались на подкосах, затяжках и до утра затихали, если их только кто-то не тревожил. Иначе их испуг превращался в хаос бьющихся сильных крыльев, которые больно ударяли тех, кто невольно под них попадал.

Чердаки пахли сухим голубиным помётом.

Я прятался в палисадниках. Во время моего детства наши дома были ими окружены. И чего только на той огороженной земле не росло, каких только деревьев, кустов, цветов не рассаживали около своих подъездов, под окнами квартир проживающие там люди (большой частью — недавние сельские жители).



Из цветов самыми распространёнными оказались золотые шары. И садовые ромашки, бархотки и всевозможных цветов и оттенков астры, тяжёлые распутившиеся бутоны георгинов и стройные, изумительно белые гладиолусы... Всё это буйство красок любовно рассаживалось на клумбах, пропалывалось и поливалось.

Подальше, у высокого штакетника, с тыльной стороны дома, живым ограждением буйствовали боярышник и сирень, вишня и акация. Далее, ближе к узкой асфальтовой дорожке, что была уложена вдоль стены дома, жались кусты смородины и шиповника. Это многообразие растительности в свой срок буйно и разнообразно цвело. Но во время игры в прятки цветение давно завершалось. Зелень листвы темнела, наливалась предосенней густотой. Через такую листву трудно было кого-либо разглядеть, а уж тем более специально затаившегося, прижавшегося к земле.

Водившие знали, что глухое место за старым высоким штакетником я любил использовать, как своё убежище, и потому смело туда шли. Но с узкой асфальтированной дорожки сходили редко, пытаясь разглядеть меня от дома, всматриваясь в освещённое ненадёжным оконным светом пространство (территория палисадника большущая — где тут наугад искать спрятавшегося), однако я был опытен и замирал, недвижимо сливаясь с цветами, кустами, прикрытый опустившимися ветками молодых рябинок, что не в состоянии ещё удерживать рождённые ими же кисти тяжёлых, не созревших зелёных ягод.

Редко меня замечали. И когда угроза разоблачения миновала, я осторожно выбирался из укрытия (Осторожность требовалась и потому — как бы не заметили обитатели тех квартир, чьи окна выходили в палисадник. От них мне точно бы не поздоровилось. И подкараулить могли, чтобы уши надрать, и родителям много чего приукрашивая, пожаловаться.), из-за угла оценивал обстановку, и если она позволяла, стремглав бежал к горке, чтобы первым, в отличии от преследователей, прокричать заветное: тук-тук!

Но это вечерами...

Днём же, пока девчонки, расчертив асфальт мелками на «классики» (прямоугольники, разделённые посередине продольной чертой, а в самом верху соединённые полукругом, именуемым почему-то «Рай») скакали, проталкивая вперёд жестяную баночку из-под леденцов, теперь заполненную для тяжести песком из дворовой песочницы (но прыгая на одной ноге, так её ударяли краем ступни, чтобы та не проскочила лишней прямоугольник, и чтобы баночка не оказалась на черте — иначе у скакавшей «сгорали» все достижения и игра переходила к другому), мы, мальчишки, играли в ножички.

Эта игра тоже требовала сноровки и сосредоточенности. На земле лезвием ножа (чаще всего дешёвого, складного) рисовался круг. Он делился ровно пополам. Жребием решалось, кому начинать игру, после чего первый номер брал нож за лезвие и с высоты роста бросал его так, чтобы он воткнулся острием в землю. Так кусок за куском от полукруга второго номера отрезались участки до тех пор, пока он не превращался в совсем уж узкую полоску или нож не втыкался в землю.

В узкую полоску, буквально в толщину лезвия, попасть было очень трудно. Чаще всего первый номер промахивался, и тогда второй начинал сначала возвращать участок своего полукруга на земле, потом уменьшать территорию соперника. При удаче, перед ним в итоге возникала та же проблема, что и перед первым номером. Чаще всего всё повторялось несколько раз, пока играющим это занятие не надоедало или кто-то не умудрялся так ловко бросить нож, что он «убивал» последнее крохотное пространство соперника.

Тогда можно было идти гонять «чижику».

Тут всё происходило в движении. Чертился на земле квадрат. В него устанавливался брусочек, заточенный с двух сторон некоторыми заострениями, а на четырёх плоских сторонах его вырезались римские циф-

ры от одного до четырёх. Ведущий игру лаптой (обструганной дощечкой с вырезанной по умению ручкой) ударял по краю бруска (тот подсакивал) и одновременно второй раз ударял по нему же, чтобы тот отлетел от очерченной площадки как можно дальше. Водящий должен был взять отлетевший брусок, зажать его одной ногой, а на другой прискакать к квадрату и точно в него опустить брусок. Если не удавалось удержать чижика, он падал на землю, то играющий смотрел, какая цифра сверху значилась на дощечке, и столько раз вновь наносил свои удары по подскочившему над землёй бруску, тем самым всё дальше и дальше отгоняя водившего от заветного квадрата. Иногда это случалось так, что игра выходила за пределы нашего двора, двигалась в сторону Староярморочного собора...

Всё это было азартно, но безобидно.

Совсем иное дело, когда вдруг пробуждалась вражда между нашим двором и тем, что соседствовал с территорией школы 176. Тут уж никакие правила не соблюдались (да их и не было), в ход шли палки, кидали друг в друга камни, куча на кучу шли в кулачную драку, пока чья-то из сторон не сдавалась и не бежала в рассыпную на радость победителям. Чего делили между собой — сейчас не вспомнить, но дружбы между нами, которых разделял всего лишь Юбилейный бульвар в честь 50-летия Октября, никогда не было. Мы наших соседей знали только по школе, впрочем, как и они нас.

В наших играх по разным поводам присутствовала одна удивительная посегоднешнему времени деталь — это серебряные рубли и полтинники от царской чеканки до советских времён 1924 года. Почему их так много оказалось в наших руках — я не знаю. Никакой ценности для большинства взрослых, по всей видимости, они не представляли. Как и боевые медали времён Великой Отечественной войны, особенно «За отвагу» и «За боевые заслуги» (вот орденов, чтобы они между нами по каким-то поводам передавались из рук в руки, совсем не помню) — эти светлые, несколько потемневшие тяжеловатые предметы были для нас «игрушками» намного менее ценными, чем искусно вырезанный из дерева пистолет или выкованный из напильника ножик с наборной из органического стекла, разноцветной отполированной ручкой.

Одно время у меня таких монет набралась целая коробка — штук тридцать. Приятно было эти тяжеловатые кругляши высыпать на стол, разглядывать, собирать в столбики или что-то из них строить: домики, башенки, крепости...

Не помню, куда всё это моё «богатство» делось. Вернее всего прибрал себе старший брат (и правильно сделал, если это только так, иначе я его или бы растерял, или раздал — среди нас, мальчишек, всё очень легко переходило из рук в руки). Буквально через десять-пятнадцать лет все эти никому ненужные серебряные кругляши вдруг стремительно начали набирать цену у антикваров (вместе с иконами, старыми книгами, особенно Богослужбными, бытовыми вещами прошлого века).

Ходили по нашим рукам кроме бумажных купюр разного достоинства императорских времён (да и керенок) ещё одни красивые цветные картинки довольно большого формата — облигации государственного (так называемого Сталинского) займа. При Н.С. Хрущёве советское государство отказалось от своих обязательств по нему и красивые бумажки, чем-то похожие на денежные знаки с нарисованными на них паровозами, стройками, плотинами и сокрушающими врага советскими войсками пошли гулять по мальчишеским рукам.

При А.И. Брежневем старые свои долги государство начало погашать, облигации стали востребованными. Мой отец по крестьянской бережливости свои облигации мне в игру не отдавал и потому, хоть и много десятилетий спустя, получил по ним предназначенное. В отличие от очень и очень многих.

Почему я сейчас вдруг вспомнил обо всё этом — давно минувшим даже и для моей жизни? Да вот невольно подумалось, что только за один век народ наш столько раз был беззащитно ограблен — и в финансовом отношении, и в социальном (одни разнообразные пенсионные реформы чего стоят), но ничему этот опыт его не учит. А мы, ничего ещё не понимающая детвора, были всему происходящему невольными свидетелями.

В тот же период, когда играли серебряными медалями и монетами с изображением русских императоров или молотобойца, бьющего кувалдой по наковальне, оказалась в моём распоряжении массивная серебряная цепь для карманных часов. Её приятно было тереть в пальцах, «переливать» с ладони на ладонь. В те годы давно часы носили на запястье руки, и подобная цепь никому не была нужна. Но только теперь, ближе к концу собственной жизни, я понимаю: каким значимым символом прошедших в стране событий она была.

Как просто и стремительно в политических катаклизмах происходит переоценка, казалось бы, ещё совсем недавно незыблемых ценностей. И материальных — в первую очередь.

## 8

Когда я приобрёл дом в деревне у большого озера, рыболовная страсть во мне давным-давно угасла. Но раз рядом есть вода, то как о ней не вспомнить. И я соорудил из тонкого орешника удочку, накопил червей и отправился на берег.

В стране назревала новая, вторая по счёту в течение одного века, революция. Шёл съезд народных депутатов СССР. Его заседания транслировались на весь Советский Союз — и по телевидению, и по радио.

Я устроился на сером бетонном склоне плотины, у того места, где вода небольшой речушки, излишне наполняющая чашу озера, сбрасывалась в закрытый металлической ржавой решёткой колодец под дорогу, и стал не торопясь добывать некрупных белых карасиков для жарёхи. Клевало не то чтобы хорошо, а так, «вразвалочку», с большими перерывами. Только ведь и я никуда не торопился.

А над озером, через усилитель какого-то восхищённого всем происходящим доброхота, неслись обличения и обвинения, проклятия и требования наказания, упования на некие «человеческие ценности» и робкие призывы к благоразумию: опомниться, успокоиться, быть объективными в отношении нашей недавней истории. На что депутатское меньшинство, которое в эфире выглядело большинством (это голоса будущих разрушителей страны), взрывалось гневом.

И подавляющему большинству слушателей в стране это нравилось — обличать, негодовать, с неистовством топтать прошлое и настоящее с уверенностью, что после этого им заживётся намного «лучше и веселее». Случалось вступать с такими людьми в споры, и я всякий раз поражался их недалёкости, в исторических вопросах безграмотности, а значит, росло во мне убеждение, что катастрофы не избежать.

Хотя её масштабы разве можно было предвидеть.

Отчасти именно предвидя трудные времена, я и приобрёл дом в деревне. На своей земле было спокойнее, основательнее.

Однажды в этот год я даже испытал настоящую рыбацкую радость, когда в один дождливый день на своём месте (было у меня такое, в отдалении от дороги, ближе к опушке леса, на небольшом мыску, под двумя старыми раскидистыми берёзами) наловил целое ведро отменных, крупных белых карасей. Клевало просто замечательно. Рыба словно настолько проголодалась, что только и ждала, когда я заброшу в озеро свою удочку с пусть основательно обсосанным ею уже не свежим червяком.

Что совсем у меня не получалось в деревне, так это заниматься литературным трудом. Тут было огорчение, которое подспудно жило в душе, тяготило.

Одно время в озере совсем пропали караси — словно исчезли по мановению волшебной палочки: буквально за год-два. Но зато оккупировали его ротаны — рыба невероятно хищная, не очень крупная, тёмно-пятнистого серого, почти чёрного цвета, с огромной зубастой пастью, заглатывающей крючок полностью, вместе с наживкой, так что выдрать его оттуда представлялось большой сложностью.

Однако вскорости нашлись доброхоты, привезли и выпустили в озеро большое количество мальков карасей, и те прижились, отстояли свою территорию, подросли, размножились, и рыбалка в наших местах возобновилась в прежнем виде.

Много кто за прошедшие десятилетия гостил и живал у меня в деревне. Были довольно случайные люди, были дорогие моему сердцу друзья.

Как-то ловили мы рыбу с берега с московским поэтом, критиком, знатоком отечественной литературы конца прошлого, начала нынешнего веков Борисом Ивановичем Лукиным. После вечером нажарила нам моя супруга пойманную рыбу, поставили мы самовар и долго, время ушло за полночь, разговаривали. Борис по этому случаю там же написал стихи:

*Смотришь, время пришло — загудел самовар,  
из трубы уголёк выметая.  
Словно топчется по двору русский жираф,  
и походка его — неземная.*

*Нам успеть на него надивиться бы всласть,  
пока солнце до леса катится,  
и запомнить, как дымкою грива вилась.  
И безделье нам это простится...*

*Оттого, что подумалось именно так,  
я сказать не хочу по-другому.  
День вчерашний уводит с собой темнота,  
и жираф проплывает вдогонку.*

Тогда на замечание поэта, что, должно быть, хорошо тут живётся, я рассказал, как порой томится здесь душа неведомо от чего. Память об одном таком случае, словно есть в нём что-то особенное, вот уже многие годы тревожит воспоминанием сердце.

Придумали две мои дочурки, тогда ещё совсем маленькие, ловить мелкую рыбу особым способом. Помог я им из проволоки соорудить что-то в виде зыбки: согнул прутья нетолстой проволоки, привязал к концам марлю и мы отправились на плотину.

Погода пасмурная, неприветливая. Изредка начинал сыпать мелкий, нудный дождь. Ветер гнал над нашими головами тяжёлые серые тучи, через которые не мог пробиться ни один луч солнца.

Лес за полем стоял чёрной стеной и казался нахохлившимся, нахмуренным, обиженным на непогоду. Нарушало гармонию шума ветра в ветках деревьев над нашими головами да непрерывного всплеска падающей с плотины вниз воды только дальнейшее кукование кукушки — как доказательство, что не только мы сиротливо мучаемся на берегу, но и она мокнет в неуютном, вымоchenном дождём, лесу. А ещё протарахтит где-то невидимый нам с плотины трактор: то ли за лесом, то ли за соседней деревней — и не разберёшь. Слышимость на свежем воздухе хорошая, и то, что, кажется, совсем рядом, может происходить за многие сотни метров от тебя.

Я уже говорил, что времена в стране наступили недобрые. Дальнейшее её существование казалось неясным, униженным, разграбленным. Хотя в моей судьбе больших перемен пока не наступало, но я понимал — они меня не минуют, и что тогда будет с моей семьёй, какое будущее ожидает моих дочерей, вот этих малюток, что с таким азартом, под

моим неусыпным наблюдением бросают своё приспособление для ловли мальков в бетонный желоб, по которому стекает вода в русло небольшой речушки, и невероятно радуются, когда в марлю попадает несколько уклеек? Вынутых рыбок опускают в пластмассовое ведёрко для игры в песочнице, куда я заранее зачерпнул воды, и вновь бросают проволоку с марлей с берега.

В этот миг сердце моё невероятно сжалось от неведомой тоски. Так стало тяжело, горько, словно вся жизнь бесцельно закончилась. Закончилась, потому что ничего в ней не осталось, кроме предательств, вроде бы бывших друзей, некоторых родных (и по крови, и по духу) людей. Горько позади, горько впереди...

Мы вернулись в дом. Дождь усилился. Жена, выполняя просьбу дочерей, «пожарила» им их улов.

А после обеда сели они рисовать на обрезках досок свои незамысловатые картинки. Я был рядом. Из остатков штапиков, которыми крепились стёкла окон в рамах, стал оформлять эти рисунки и вешать их на стены. Так с тех пор они и находятся на своих, раз и навсегда определённых местах.

Приближалась безжалостная осень 1993 года.

Теперь порой, когда живу в доме один (сейчас хорошо в нём пишется, читается, думается), я их снимаю со стены, и читаю на обороте подписи, неумело накарябанные рукой старшей дочери. И всё ко мне возвращается. В этот миг сердце моё словно захлёбывается от печали и любви, тоски и обречённости. Не понимаю — как мне удалось пережить то время.

Но вспомнились мне и радостное, что случилось со мною на этих берегах. Об этом я тоже рассказал Борису за чашкой чая, к которому для аромата были добавлены свежие листья мяты и чёрной смородины.

Как-то днём сидел я на берегу, с ленью поглядывал на безжизненный поплавок. Вода бликами послеполуденного солнца слепила глаза, и тогда я поднимал их к небу и смотрел в бесконечную лазуревую даль.

Я не заметил, как за моей спиной уселся мальчишка лет семи-восьми и начал вместе со мной наблюдать за поплавком.

— Что-то не клюёт, — подал он через какое-то время голос. Только тогда я его и заметил.

— Да, не хочет клевать. А ты чего без удочки? — пошутил я.

— Далеко нести. Да я и не собирался рыбачить. К бабушке иду в совхоз «Сормовский пролетарий».

— Ничего себе! Далеко ещё до бабушки.

— Нет, почти пришёл, чего тут осталось-то.

— Так откуда же ты?

Мальчишка назвал другой совхоз, который, по моим представлением был уж совсем далеко. Если по дорогам, то объезжать километров под пятьдесят.

— Как ты смог сюда попасть! — невольно воскликнул я.

— Через лес, по лесным дорогам.

— И не боишься, не забудился, не устал?

— Нет, чего бояться. И ноги не казённые, свои. Устану, так сяду, отдохну.

Он ещё мне рассказывал про отца, про бабушку, что сам часто этой дорогой бегаёт в гости в «Сормовский пролетарий», а я только диву давался, да в душе своей восхищался.

Подождала супруга. Решила прогуляться до озера, заодно меня позвать обедать. Мальчишка ещё немного посидел, и весело пошёл по направлению к просеке, что через лес вела к совхозу.

— Кто это был? — спросила супруга, когда малец отошёл подальше в луга.

— Мой Колька, — только и ответил я.

Дело в том, что ещё в начале восьмидесятых годах прошлого века написал я небольшое повествование в несколько рассказов, где главным



героем был мальчишка примерно таких же лет. В моём воображении маленький герой хорошо знал лес, не боялся его, ходил в него как к себе домой, открывал в нём многие тайны, неведомые нам, взрослым.

При обсуждении рукописи нет-нет да автору приходилось слышать сомнения: уж больно он у тебя маленький, чтобы так спокойно в лесу себя чувствовать. Нужно, чтобы был постарше.

И вот явился мне настоящий Колька: не выдуманный, живой мальчишка, который полностью подтвердил те давние мои предчувствия и фантазии. Случайно ли произошла наша встреча?..

В другой раз я ловил рыбу на своём мыску, вдалеке от деревни, у самого леса. Сумрак спускался на землю. Но клевало хорошо, и уходить от озера никак не хотелось. Уговаривал себя — всё, последний раз, подсеку-не подсеку, всё равно смотаю удочки и отправлюсь домой. Однако после очередной поклевки не уходил, а вновь забрасывал удочку. Хотя и поплавок уже начинал теряться на воде, да и рыба всё реже и реже проявляла интереса к моей наживке.

И тут я услышал два мужских голоса, негромко разговаривающих между собой.

Первый жаловался второму:

— Она мне всё работай да работай. Иди картошку окучивай, иди забор поправь, иди огурцы полей... А мне так попеть хочется.

Второй, судя по молчанию, был озабочен и сосредоточен.

Вскоре голоса стихли. Тропинка эта вела через дуга к просеке, и я подумал, что два мужичка, сбежав от жениных глаз, решили, пока не закрыли магазин, сбежать купить бутылку да порадовать себя лёгким, незаконным для семейного бюджета хмелем. Но оказалось всё не так...

Я только обматывал вокруг удилица леску, втыкал в него жало крючка, когда откуда-то со стороны послышалась негромкая, слов не разобрать, песня. Я поспешил подняться из-под берега наверх.

На опушке леса, слабо различимы в сумраке, на стволе поваленного дерева белели рубахами две мужские фигуры и негромко, проникновенно пели. И так хорошо, так сладко было моей душе от этой негромкой песни, что я замер на время, боясь спугнуть подступившее чувство.

Сумрак всё сгущался, наполнялся ночной прохладой и влажностью, поздняя птица пролетела над головой, громко шурша крыльями, а мне не хотелось трогаться с места.

Домой я шёл быстрым шагом, почти бежал. Так нетерпелось поделиться пережитым с родными людьми.

Но когда вошёл в ярко освещённые электрическим светом комнаты, так всё куда-то во мне пропало, растворилось, улетучилось, и я ничего стоящего из увиденного и услышанного не мог передать. Ну пели мужики, ну убежали от жён к лесу — эка невидаль.

И действительно — что за невидаль. А вспомню — и чуть слёзы на глаза не наворачиваются.

Вот этой новеллой я и поставлю точку в моём затянувшемся рассказе о прожитом и пережитом.

Уже давно я не хожу на рыбалку, но воспоминания о разных берегах рек и озёр живут во мне, в моей памяти.

О рыбалке...

О своей жизни.

Утром, выйдя из деревенского дома на свой участок первым, кого увидел, — был сосед. Заговорщически улыбаясь, он подошёл к разделявшему наши территории заборчику.

— Я сегодня восемнадцать штук взял. Все караси как на подбор — крупные. Один уж совсем большой попался. Подтянул к себе (ты знаешь, у меня на глубине место прикормлено, мостками удобными оборудова-

но), пальцами уже под жабры стал брать, а он как даст хвостом... Если бы я его за верхнюю губу зацепил, то удержал бы, а так упустил. Сорвался. Только что и смог погладить красавца по спине... Завтра как, утречком пойдёшь?

«Наловился я уже за письменным столом, хватит», — так попервоначалу я надумал ответить соседу. Но затем, после паузы, произнёс:

— Не знаю... Жизнь-то продолжается.

Высокое доброе солнце освещало и обогревало землю.

Вечером на электричке я уехал из деревни. Выйдя на платформу Московского вокзала, по тоннелю прошёл в город. Когда-то этого подземного перехода не было. Вместо него над железнодорожными путями возвышался металлический пешеходный мост, соединяющий Площадь Революции с Гордеевкой. Я и сейчас вышел на Гордеевский пятачок.

И вдруг вспомнил, как приходил сюда совсем маленьким с отцом. Редко мы вместе куда-то ходили. Но это был первый раз, оставшийся в моей памяти. Сколько же мне было тогда — лет пять-шесть? Всё здесь выглядело в те времена совсем иначе, чем теперь, и только старинное двухэтажное здание из красного кирпича так же стоит у трамвайной линии, как и прежде. Тогда на площади перед ним расположился круглый деревянный балаган, стены которого разрисованы картинками мчащихся на мотоциклах мотогонщиков — в шлемах, кожаных перчатках, в больших, плотно прилегающих к лицу очках. Так мне это сейчас видится. Или допридумывается?

Отец купил билеты в крохотной фанерной будочке у входа в балаган, и мы по крутой лестнице поднялись наверх. Внизу, как в большом деревянном колодце, стояло два мотоцикла. Отец сказал, что сейчас они будут ездить по стенам. Я пытался это представить, но у меня ничего не выходило. Однако через какое-то время в «колодце» открылась небольшая дверка, через неё к мотоциклам прошли два человека...

Грохот разом заработавших моторов забил уши, запахло выхлопными газами, и первый мотоцикл начал ездить внутри вдоль деревянных стен, постепенно увеличивая скорость, и вот... невероятно! Мотоциклист стал подниматься всё выше и выше по отвесно стоящим стенам, почти поднявшись до зрителей. На большой скорости он проносился мимо нас, обдавая гарью отработанного бензина, деревянные щиты прогибались и потрескивали от силы давивших на них шин, а мотоциклисты (их на стене было уже двое) продолжали носиться мимо нас, временами отпуская руками руль мотоциклов.

Зрелище захватило, поразило, потому что на моих глазах происходило то, чего не могло быть. Это впечатление, выходит, осталось со мной на всю жизнь. Ничего из того далёкого дня я больше не запомнил. Только отца, деревянный шатровый балаган и проносящиеся по вертикальным стенам мотоциклы. Но и этого оказалось так много, чтобы ощутить особое движение времени, столь быстро изменяющее всё вокруг.

Нет больше старой Гордеевки, походившей на деревню, а не на город, нет балагана, нет ярмарочных и многих других барачков, нет Сибирских пристаней и той Стрелки, что существовала своей жизнью в мои детские годы, нет озёр, нет отца... Да почти ничего из того прошлого не осталось...

Есть только я, стоящий в городских сумерках на небольшой площади, освещённой жёлтым, словно тяжело придавливающим к брусчатке всё видимое мною, светом фонарей, и моё, оставшееся не таким уж и большим, время жизни.